

ХРУСТАЛЬНЫЙ ШЁПОТ

Евгений Фюжен



Евгений Фюжен

Хрустальный Шёпот

«Автор»

2026

Фюжен Е.

Хрустальный Шёпот / Е. Фюжен — «Автор», 2026

3 часть серии книг Протокол (2 альтернативная версия). «Хрустальный Шёпот» — мистический детектив, действие которого разворачивается в зимнем Петербурге 1852 года. В Летнем саду находят застывшую в танце хрустальную балерину. За расследование берётся следователь Глеб Орлов — человек, потерявший память и способность чувствовать. Вместе с напарницей Анфисой, обладающей даром чувствовать магию, он погружается в мир, где красота становится проклятием, а вечность — ловушкой. Следы ведут в особняк графини Воронцовой-Демидовой — женщины, которая «сохраняет» самые яркие моменты жизни, превращая людей в хрусталь. Графиня предлагает Орлову выбор: вернуть память о погибшей возлюбленной или спасти тех, кто ещё жив. Но у графини свои планы — и она не собирается отпускать своих «экспонатов».

© Фюжен Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие от автора:	5
Глава 1: Зимний сад	6
Глава 2: Хрустальная балерина	10
Глава 3: Хрустальный мальчик	14
Глава 4: Подвал графини	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Хрустальный Шёпот

Предисловие от автора:

Альтернативное продолжение после событий книги "Железный Шёпот", в данном произведении уже совсем другие события, тут герои развиваются иначе, чем в книге "Печать Забвения". Также данная вселенная будет продолжаться и развиваться по своему. Жду ваш отклик как вам данная альтернативная версия продолжения.

Глава 1: Зимний сад

Зима в Петербурге 1852 года выдалась на редкость свирепой. Нева встала рано, покрывшись толстым, зеленовато-серым панцирем, по которому сновали смельчаки-извозчики, рискуя сократив путь. Мороз был не просто холодом — он был состоянием души, въедливым, как запах дыма, который не выветривался даже из бархатных портьер императорских покоев. Деревья в Летнем саду стояли, словно отлитые из чугуна: чёрные, обнажённые, с ветвями, похожими на скрюченные пальцы нищих, протянутые к белесому, ничего не обещающему небу.

Летний сад зимой был мёртв. Не той смертью, что приходит с осенью и уходит с весной, — а смертью окончательной, торжествующей, когда сама земля, кажется, забыла, что когда-то умела рожать. Аллеи, вымощенные гранитом, покрывал слой наледи, и по нему, как по венам застывшего тела, тянулись цепочки следов. Одинокие, обрывающиеся. Следы тех, кто приходил сюда, чтобы побыть одному. Или чтобы исчезнуть.

Именно здесь, в самой глубине сада, у мраморной статуи Аполлона, чьи черты давно стёрлись от времени и непогоды, утром 17 декабря нашли её.

Городовой Пахом, мужик лет пятидесяти, с лицом, похожим на печёное яблоко, и усами цвета соломы, сначала принял её за изваяние. Ещё одну статую, каких в Летнем саду было десятки. Но что-то в её позе — слишком живое, слишком отчаянное — заставило его остановиться. Он подошёл ближе. И тогда увидел.

Она стояла на пуантах. Тонкая, как тростинка, в лёгкой, не по погоде, белой пачке, которая не трепетала на ветру, а была словно впаяна в воздух. Руки её были вскинута вверх, пальцы растопырены, будто она пыталась ухватить что-то — или оттолкнуть. Голова запрокинута, шея вытянута. Рот приоткрыт — не в крике, а в выдохе. В последнем, незавершённом выдохе.

Но Пахом не слышал ни звука. И не потому, что мороз заглушал всё. А потому что она была не из плоти. Она была из хрусталя.

Городовой перекрестился. Рука его, привыкшая к грубой работе, дрогнула. Он сделал шаг назад — и наступил на что-то, что хрустнуло под сапогом. Опустил взгляд. На гранитной плите, у самых ног статуи, лежал цветок. Роза. Тоже хрустальная, с тончайшими, словно паутина, лепестками. А в самой сердцевине цветка, заключённая в прозрачную каплю, темнела крошечная точка. Капля крови.

Пахом не был философом. Он был простым человеком, который верил в Бога, в царя и в то, что утренняя чарка водки — лучшее лекарство от всех болезней. Но сейчас он понял одно: то, что он видит, не имеет объяснения. И это пугало больше, чем любой разбойник или пьяный дебош.

Он попятился, не сводя глаз со статуи, и, споткнувшись о корень, побежал. Бежал он неуклюже, тяжело, но с той скоростью, которую даёт только животный ужас. Он бежал к воротам, к людям, к теплу. Подальше от этого места, где сама зима, казалось, обрела плоть и застыла в вечном танце.

Глеб Сергеевич Орлов прибыл на место через час. За это время у ворот Летнего сада успела собраться толпа: зеваки, извозчики, торговки с лотками, которые, забыв о своих пирожках, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь спины городских. Слышались шепотки, крестные знамения, сдавленные вскрики. Слово «хрусталь» уже витало в воздухе, передаваясь из уст в уста, обрастая подробностями, которые не имели ничего общего с правдой, но уже стали ею.

Орлов вышел из саней, не торопясь. Он всегда выходил не торопясь, словно давая миру время осознать своё несовершенство. Плащ его, тяжёлый, на ватной подкладке, был расстёгнут, несмотря на мороз, — Орлов не чувствовал холода так, как чувствовали другие. С некоторых

пор его внутренний термометр сбился. Он ощущал холод только тогда, когда рядом была магия. А магия, как он знал по опыту, всегда приходит с жаром. Или с ознобом. Третьего не дано.

Он показал городовому жетон Бюро — латунный, с гравировкой, изображавшей глаз в треугольнике. Городовой, молодой парень с прыщавым лицом, вытянулся, но в его глазах промелькнула та самая тень, которую Орлов видел в глазах всех, кто хоть раз слышал о Бюро. Смесь страха, любопытства и недоверия. Как будто он был не следователем, а цирковым уродцем, которого держат в клетке для всеобщего развлечения.

— Где? — спросил Орлов коротко.

— На аллее, ваше благородие. У Аполлона. — Городовой махнул рукой куда-то вглубь сада. — Там уже никого нет. Я никого не пускаю.

— Правильно делаешь.

Орлов прошёл мимо, не оглянувшись. Он знал этот сад. Помнил его летним, полным света и запаха лип, помнил ту первую ночь, когда увидел замороженного аристократа и впервые в жизни услышал слово «обсидиан». Тогда он ещё верил, что мир можно объяснить. Что всё имеет причину и следствие. Что логика — универсальный ключ к любой двери.

Теперь он знал, что логика — это лишь одна из многих дверей. И за ней может скрываться что угодно.

Анфиса ждала его у статуи. Она стояла неподвижно, закутавшись в тёмно-синюю шерстяную накидку, и смотрела на хрустальную фигуру так, как смотрят на старого знакомого, с которым когда-то давно поссорились. Её лицо было бледным — не от холода, а от того внутреннего напряжения, которое она всегда испытывала при близости магии. Орлов знал это выражение. Оно означало, что она что-то чувствует, но ещё не может сформулировать.

— Она красивая, — сказала Анфиса, не оборачиваясь. — Ты только посмотри. Она красивая. И это самое страшное.

Орлов подошёл и встал рядом. Минуту они молчали. Он смотрел на хрустальную балерину, и что-то в её позе — это отчаянное, последнее движение — отзывалось в нём глухой, ноющей болью. Он не помнил, откуда эта боль. Но она была. Как заноза, которую не вытащили, и она обросла плотью, но иногда, при неловком движении, напоминает о себе.

— Кто она? — спросил он.

Анфиса достала из кармана сложенный листок.

— Варвара Ланская. Двадцать два года. Прима-балерина Мариинского театра. Вчера вечером ушла из театра после репетиции. Домой не вернулась. — Она помолчала. — У неё был дар. Слабый, но настоящий. Что-то связанное с движением. Она могла заставить вещи двигаться. Немного. Танцевать. Платок, ленту, перо. Мелочи. Но настоящие.

— Ты её знала?

— Видела один раз. На благотворительном вечере. Она танцевала. — Анфиса наконец обернулась, и Орлов увидел, что её глаза блестят. — Это был не просто танец, Глеб Сергеевич. Это было... — она подыскивала слово, — ...как молитва. Она не танцевала. Она говорила с чем-то. С кем-то. Я тогда подумала: вот человек, который по-настоящему живёт. Понимаешь? Не существует. Живёт.

Орлов кивнул. Он понимал. Он сам когда-то так жил. Давно. До того, как узнал, что мир полон чудес — и что чудеса эти не всегда добрые.

Он присел на корточки, внимательно изучая хрустальную розу. Он не прикасался к ней. Уже давно выучил: не трогать ничего, что может быть «якорем». Артефакты, связанные с жертвами, часто хранят отпечаток воли создателя. И этот отпечаток может быть опасен.

— Ты что-нибудь чувствуешь? — спросил он.

Анфиса закрыла глаза. Её пальцы, затянутые в перчатки, слегка подрагивали. Она дышала глубоко, размеренно, словно погружаясь в воду.

— Здесь... — начала она, и её голос стал глуше, словно шёл из глубины. — Здесь не боль. Не страх. Не отчаяние. Здесь... — она нахмурилась, — ...восторг.

— Восторг? — Орлов поднял бровь.

— Да. — Анфиса открыла глаза, и в них было недоумение. — Она не боялась. В последний момент. Она... ликовала. Как будто достигла чего-то. Как будто наконец... — Анфиса замолчала, подбирая слова. — ...стала собой.

Орлов выпрямился. Он смотрел на хрустальное лицо балерины — на приоткрытый рот, на запрокинутую голову, на застывшую в последнем движении руку. И в этом лице не было ужаса. Только то самое выражение, которое Анфиса назвала восторгом. И от этого становилось ещё страшнее.

— Значит, она не сопротивлялась, — сказал он медленно. — Тот, кто это сделал, не нападал. Он... предложил.

Анфиса кивнула.

— И она согласилась.

Они стояли молча, глядя на хрустальную статую. Ветер шевелил ветки мёртвых деревьев, и те скрипели, как старые половицы в пустом доме. Где-то вдалеке каркнул ворон — резко, насмешливо, словно напоминая, что жизнь продолжается, даже когда кажется, что мир остановился.

— Есть ещё кое-что, — сказала Анфиса. Она достала из кармана небольшой бархатный мешочек и высыпала на ладонь, затянутую в перчатку, несколько хрустальных осколков. Они были мелкими, почти пылью, но в свете тусклого зимнего солнца переливались всеми цветами радуги. — Я нашла это у неё под ногами. Не роза. Что-то другое. Что-то, что разбилось. Или было разбито.

Орлов взял один осколок. Даже сквозь перчатку он почувствовал, как по пальцам пробежал лёгкий холод. Не тот, что от мороза. Другой. Глубинный.

— Это... — начал он.

— Память, — закончила Анфиса. — Разбитая память. Я думаю, Варвара оставила нам послание. Часть себя. То, что убийца — или кто бы он ни был — не смог или не захотел забрать.

Орлов посмотрел на осколки в её ладони. Они были похожи на слёзы, застывшие на морозе. И в каждой из них, если приглядеться, можно было увидеть крошечное отражение — фрагмент чего-то большего. Улыбка. Взмах руки. Свет свечей. Чьё-то лицо.

— Мы должны узнать, что она видела, — сказал он.

— Я могу попробовать, — ответила Анфиса. — Но не здесь. Не сейчас. Это... хрупкое. Если ошибусь, оно рассыплется.

Орлов кивнул. Он знал, что она имеет в виду. Магия памяти — самая опасная. Она не убивает тело. Она убивает душу. Или то, что от неё осталось.

Он обернулся, услышав шаги за спиной. К ним шёл Тимофей Семенович, архивист Бюро. Он был закутан в тулуп, из которого торчал только кончик носа — красный, как клюква. В руках он держал папку, которую прижимал к груди, как младенца.

— Глеб Сергеевич, — начал он, запыхавшись. — Я тут... в архивах... нашёл. — Он открыл папку и протянул Орлову пожелтевший листок. — Донесение от 1793 года. Из Третьего отделения. Канцелярия его сиятельства графа Воронцова. «О странном происшествии в Летнем саду».

Орлов взял листок. Бумага была ветхой, чернила выцвели, но текст ещё можно было разобрать. Он пробежал его глазами — и остановился на одной строчке.

«...и была она найдена в позе танцующей, из хрусталя сотворённая, и лицо её выражало не муку, а сладость...»

Он поднял взгляд на Тимофея Семеновича.

— Воронцовы, — сказал он. — Граф Воронцов. Это те же, что...

— Те же, — кивнул архивист. — Графиня Елизавета Воронцова-Демидова. Нынешняя владелица особняка на Английской набережной. Меценатка. Покровительница искусств. — Он помолчал, потом добавил тише: — И, по слухам, очень, очень странная женщина.

Орлов снова посмотрел на хрустальную балерину. Ветер усилился, и по гранитной аллее понеслась ледяная крупа, осыпая статую миллионами мелких, колючих снежинок. Но хрусталь не покрывался изморозью. Он оставался чистым, прозрачным, сияющим. Слово сама зима не смела к нему прикасаться.

— Значит, — сказал Орлов, — у нас есть коллекционер.

Анфиса нахмурилась.

— Коллекционер?

— Тот, кто собирает прекрасные моменты, — ответил он. — И останавливает их. Навсегда.

Он повернулся и пошёл к выходу из сада. Снег скрипел под его сапогами, и этот звук — резкий, механический — отдавался в тишине, как удары метронома. Отсчитывающего время. Которого, для хрустальной балерины, больше не было.

За его спиной Анфиса бережно убрала осколки в мешочек и затянула шнурок. Она смотрела на статую, и в её глазах было не только сострадание, но и что-то ещё. Что-то, что она пока не решалась назвать.

Страх.

Не за себя. За него. За Орлова.

Потому что в хрустальном лице балерины, в этом застывшем восторге, она видела отражение того, что уже начало происходить с её партнёром. Медленное, незаметное, но неотвратимое. Застывание. Остановку. Превращение живого в прекрасное.

И она поклялась — молча, без слов, одними губами, — что не позволит этому случиться.

Даже если для этого придётся разбить весь хрусталь в этом городе.

У ворот Летнего сада толпа стала ещё гуще. Кто-то принёс гармонь, и теперь над заснеженной улицей плыла тоскливая, тягучая мелодия. Орлов прошёл сквозь людей, не глядя по сторонам. Он слышал обрывки разговоров:

— ...говорят, сама графиня Воронцова...

— ...хрусталь-то не простой, а с душой...

— ...балерину-то, слышь, нашли! В хрустале!

— ...да что вы говорите!..

Он сел в сани. Кучер, старый татарин с лицом, похожим на печёную картофелину, обернулся.

— Куда, барин?

— На Английскую набережную, — сказал Орлов. — К особняку Воронцовых.

Сани тронулись. Снег летел навстречу, слепя глаза, и Орлов, зажмурившись, вдруг почувствовал, как что-то в его груди — там, где когда-то было сердце, а теперь остался только холодный, ровный стук, — отозвалось на это имя. Воронцова. Графиня. Хрусталь.

Он не знал, что его ждёт. Но он знал, что это будет красиво.

И это пугало больше всего.

Глава 2: Хрустальная балерина

Особняк Воронцовых на Английской набережной появился из снежной мглы внезапно, словно материализовался из чьей-то небрежной фантазии. Три этажа, барочные завитки, кариатиды, держащие балконы, — и всё это утопало в белом, пушистом снегу, который здесь, в отличие от Летнего сада, казался не саваном, а праздничным убранством. Словно сам дом, зная о своём мрачном предназначении, решил принарядиться, чтобы обмануть случайного прохожего.

Орлов вышел из саней и остановился, задрал голову. В окнах второго этажа горел мягкий, тёплый свет. Слышалась музыка — негромкая, но настойчивая, какая-то барочная пьеса для клавесина, в которой каждая нота была отточена до идеала. Ни одной лишней. Ни одной случайной.

— Красиво, — сказала Анфиса, подходя к нему. Она вылезла из вторых саней, которые следовали за ними. — Слишком красиво.

— Ты чувствуешь что-нибудь?

Она помолчала, прислушиваясь к себе.

— Пустоту, — ответила она наконец. — Такую же, как в особняке Ярославского. Только... другую. Тогда это была стерильность. Как в операционной. А сейчас... — она поёжилась, — ...как в музее. Всё на своих местах. Всё прекрасно. И всё — за стеклом.

Орлов кивнул. Он понимал, что она имеет в виду. Он и сам чувствовал это — глухое, давящее ощущение, будто дом не живёт, а позирует. Для кого? Для истории? Для себя? Для того, кто смотрит?

— Идём, — сказал он. — Нанесём визит.

У ворот их встретил лакей — старик с лицом, похожим на выдубленную кожу, в ливрее цвета старого золота. Он не спросил, кто они и зачем. Он просто открыл ворота и поклонился, как будто ждал их. Как будто ждал всех.

— Её сиятельство принимает, — сказал он. — Прошу следовать за мной.

Они прошли через двор, мощённый мраморными плитами, и поднялись по широкой лестнице, устланной ковром цвета запёкшейся крови. Двери открылись сами — или их открыли невидимые слуги, — и они оказались в огромной гостиной, убранство которой заставило Анфису замереть на пороге.

Хрусталь был везде. Люстры — гроздь прозрачных слёз, свисающие с потолка. Канделябры — тонкие, как стебли, с огнями, дрожащими в стеклянных лепестках. Шкафы с хрустальными фигурками — животные, цветы, люди. А в центре зала, на постаменте из чёрного мрамора, стояла скульптура. Женщина. Танцующая. Застывшая в прыжке.

Это была не Варвара Ланская. Другая. Но поза — та же. Руки вскинуты, голова запрокинута, рот приоткрыт в последнем выдохе.

— Восхитительно, не правда ли?

Голос был мягкий, низкий, с лёгкой хрипотцой, которая придавала ему интимность. Орлов обернулся.

Она стояла в дверном проёме, ведущем в соседнюю комнату. Высокая, стройная, в тёмно-бордовом бархатном платье, с волосами цвета старого серебра, уложенными в сложную причёску. Её лицо было бледным — не болезненно, а той аристократической бледностью, которая считается признаком породы. Глаза — серые, прозрачные, как вода в горном ручье. И в них — ни тени, ни движения. Только отражение.

Графиня Елизавета Воронцова-Демидова.

— Капитан Орлов, — сказала она, не спрашивая. — И мадемуазель Ветрова. Я наслышана о вашей... деятельности.

Она подошла, двигаясь плавно, почти не касаясь пола. Орлов заметил, что она не носила украшений. Ни ожерелья, ни серёг, ни браслетов. Только тонкое обручальное кольцо на левой руке — старое, потускневшее.

— Ваше сиятельство, — Орлов слегка поклонился. — Мы расследуем смерть Варвары Ланской.

— Смерть? — Графиня подняла бровь. — Какое грубое слово. Она не умерла, капитан. Она остановилась. В самом прекрасном моменте своей жизни.

Анфиса, стоявшая чуть позади, сжала кулаки. Орлов почувствовал это — по тому, как изменился воздух, как будто в комнате стало на градус холоднее.

— Вы знали её? — спросил он.

— Разумеется. Она танцевала на моём вечере. Три недели назад. — Графиня подошла к хрустальной статуе и провела по ней пальцами, с той же нежностью, с какой слепой часовщик Григорий касался своих механизмов. — Это была не просто балерина. Это была душа. Настоящая, живая, трепещущая. Вы знаете, капитан, что такое живая душа?

— Имею некоторое представление.

— Нет, — графиня покачала головой. — Не имеете. Вы видите её каждый день, но не замечаете. Как не замечают воздух, которым дышат. А я... — она улыбнулась, и улыбка эта была не злой, а скорее печальной, — ...я вижу только её отсутствие. Во всём. В каждом человеке. В каждой вещи. Всё, что нас окружает, — это оболочки. Пустые. Безжизненные. И только иногда, очень редко, в ком-то вспыхивает этот огонь. Настоящий. Живой. И тогда... — она снова посмотрела на статую, — ...тогда я понимаю, что должна его сохранить.

— Сохранить? — переспросил Орлов. — Превратив в хрусталь?

— Да, — просто ответила графиня. — Хрусталь — это вечность. Это чистота. Это форма, лишённая несовершенства. Вы когда-нибудь видели, как умирает красота, капитан? Я видела. Много раз. Юные лица покрываются морщинами. Сильные тела дряхлеют. Яркие глаза тускнеют. Всё, что было прекрасно, становится уродливым. Всё, что было живым, — умирает. А я... — она снова провела рукой по статуе, — ...я останавливаю это. Я дарую бессмертие.

Анфиса не выдержала.

— Вы даруете смерть! — её голос дрожал от сдерживаемой ярости. — Вы убиваете людей! Забираете их жизни! Их души!

Графиня посмотрела на неё. Спокойно. Почти ласково.

— Милая, — сказала она. — Вы когда-нибудь задумывались, что такое жизнь? Это боль. Это страх. Это разочарование. Каждый день мы теряем что-то. Каждый день мы становимся чуть менее живыми. А я предлагаю выход. Я предлагаю остановиться. Навсегда. В самом лучшем, в самом ярком, в самом истинном моменте. — Она помолчала. — Разве это не милосердие?

— Это безумие, — прошептала Анфиса.

— Безумие? — Графиня усмехнулась. — Возможно. Но разве весь наш мир не безумен? Разве не безумие — родиться, страдать и умирать, не оставив после себя ничего, кроме горстки праха? Я — художник. Я — творец. Я беру хаос и превращаю его в гармонию. Я беру жизнь и превращаю её в искусство.

Она сделала шаг к Анфисе, и та инстинктивно отступила.

— Вы ведь тоже художник, мадемуазель Ветрова. Вы чувствуете магию. Вы видите то, что скрыто от других. Разве вы не хотите сохранить это? Разве вы не хотите, чтобы то, что вы любите, осталось навсегда?

— Я хочу, чтобы это жило, — ответила Анфиса. — А не стояло в вашем музее.

Графиня покачала головой.

— Жизнь — это движение. А движение — это несовершенство. Я предлагаю покой. Идеальный покой. Вы просто не понимаете.

Она отвернулась и подошла к окну. За стеклом кружился снег — крупный, пушистый, он падал медленно, как в замедленной съёмке. Графиня смотрела на него, и её профиль — точеный, античный, — казался вырезанным из того же хрусталя, что и её коллекция.

— Варвара пришла ко мне сама, — сказала она, не оборачиваясь. — Она устала. Устала от боли, от страха, от несовершенства. Она хотела остановиться. И я дала ей эту возможность. Она была счастлива. В последний момент. Вы видели её лицо. Вы видели этот восторг?

Орлов молчал. Он видел. И это было самое страшное.

— Вы лжёте, — сказала Анфиса. — Она не хотела умирать. Она хотела жить. Она танцевала. Она говорила с кем-то. С кем-то. Она не была сломлена.

Графиня обернулась. Её глаза сузились.

— Откуда вы знаете?

— Я чувствую, — ответила Анфиса. — Это мой дар. Я чувствую то, что осталось. И то, что осталось от Варвары, — это не покой. Это крик. Это попытка вырваться. Вы не сохранили её. Вы её запечатали.

В комнате повисла тишина. Даже музыка — клавесин, доносившийся из соседней комнаты, — смолкла, словно музыкант прислушивался к разговору.

Графиня смотрела на Анфису долго, не мигая. Потом её лицо снова приняло прежнее, благодушное выражение.

— Вы ошибаетесь, — сказала она мягко. — Но я не буду спорить. Вы ещё молоды. Вы поймёте. Со временем. — Она повернулась к Орлову. — Капитан, я слышала, вы потеряли память. Часть её, во всяком случае. Это... печально. Но и... интересно.

Орлов напрягся.

— Что вы имеете в виду?

— Я коллекционирую не только прекрасные моменты, — сказала графиня. — Я коллекционирую и утраты. Люди, потерявшие что-то важное, становятся... особенными. Их души обнажаются. Они видят мир иначе. Они становятся... чище. — Она улыбнулась. — Вам идёт эта потеря, капитан. Она делает вас... красивее.

Орлов почувствовал, как что-то холодное коснулось его сознания. Лёгкое, как прикосновение пера. Он мотнул головой, отгоняя наваждение.

— Я не собираюсь становиться частью вашей коллекции, — сказал он.

— Все так говорят, — ответила графиня. — В начале.

Она подошла к нему вплотную. Так близко, что он почувствовал запах её духов — не цветочный, не пряный, а какой-то странный, похожий на запах старого лака и пыли. Как в музее.

— Вы знаете, что я вижу, когда смотрю на вас? — спросила она тихо. — Я вижу человека, который уже наполовину застыл. Ваша память тает. Ваши чувства притупляются. Ваша воля — это единственное, что вас ещё держит. Но воля — это не жизнь, капитан. Это каркас. А каркас без плоти — это... — она обвела рукой комнату, — ...это музей. Прекрасный. И мёртвый.

Она отступила.

— Я не враг вам, капитан. И вам, мадемуазель. Я предлагаю вам то, что предлагала Варваре. Остановку. Покой. Вечность. Подумайте об этом.

Она позвонила в серебряный колокольчик. В дверях появился тот же лакей.

— Проводите гостей.

Орлов и Анфиса вышли из гостиной. Уже на лестнице, спускаясь по кровавому ковру, Анфиса схватила Орлова за руку.

— Она опаснее всех, кого мы знали, — прошептала она. — Ярославский хотел порядка. Смирнов хотел контроля. А она... она хочет красоты. И это самое страшное, потому что красота не знает границ. Красота — это оправдание для всего. Для любого зверства.

Орлов молчал. Он думал о том, что сказала графиня. О том, что он уже наполовину застыл. И о том, что в её словах была правда — больше правды, чем ему хотелось бы.

Они вышли на улицу. Снег всё падал, укрывая город белым, чистым покрывалом. И в этом снежном безмолвии Орлов вдруг отчётливо понял: они только что побывали в логове зверя. И зверь этот не рычал, не нападал. Он улыбался. И приглашал в гости.

— Что будем делать? — спросила Анфиса.

Орлов посмотрел на особняк. В окне второго этажа горел свет. Графиня стояла там, глядя на улицу. Она не пряталась. Она ждала.

— Будем искать то, что она прячет, — сказал он. — Хрустального мальчика.

Глава 3: Хрустальный мальчик

Бюро встретило их запахом старой бумаги, воска и слабого, но настойчивого аромата полыни — Анфиса жгла её в плошке, чтобы «очистить воздух после визита к графине». Орлов снял плащ, повесил его на гвоздь у двери и прошёл в свой кабинет, не зажигая лампы. Сел в кресло. Закрыв глаза.

В голове было пусто. Не спокойно — именно пусто. Как в комнате, из которой вынесли всю мебель. Он знал, что там что-то было. Помнил очертания. Но сами предметы — исчезли.

Варвара Ланская. Балерина. Хрусталь. Он прокручивал в уме слова графини, и они отзывались в нём странным, болезненным эхом. «Вы уже наполовину застыли». Он не хотел признавать, что это правда. Но где-то на дне сознания, в тёмном, илистом слое, куда он старался не заглядывать, уже поселился холод. Тот самый, что исходил от обсидиана. Тот самый, что остался после Колокола.

Он открыл глаза. На столе лежал конверт. Без штемпеля, без адреса. Просто его имя, выведенное тонким, каллиграфическим почерком. Чернила — фиолетовые, с лёгким блеском. Он не помнил, чтобы этот конверт кто-то приносил. Но он лежал здесь. Ждал.

Орлов взял его, повертел в руках. Бумага была плотной, дорогой, с водяным знаком — роза. Он сломал печать. Внутри — один листок. Тот же почерк.

«Капитан, я забыла упомянуть. У меня есть то, что принадлежит вам. Нечто, что вы потеряли. Приходите. Одна. Сегодня в полночь. Я буду ждать у оранжереи. — Е.»

Он скомкал листок. Сердце — то, что от него осталось, — стукнуло чаще. Это была ловушка. Очевидная, наглая, почти оскорбительная в своей простоте. Но в ней было то, что цепляло. «То, что принадлежит вам». Что она могла иметь в виду?

Он не сказал Анфисе. Она бы запретила. Или пошла бы с ним. Или придумала бы что-то разумное, взвешенное, правильное. А ему сейчас не нужен был разум. Ему нужно было понять, что происходит с его памятью. Потому что с каждым днём дыра в груди становилась всё больше, и он боялся, что однажды заглянет в неё — и не увидит дна.

Анфиса в это время была в подвале. Там, среди стеллажей с артефактами и шкафов с папками, она расстелила на столе чистый холст и разложила перед собой хрустальные осколки, найденные под ногами балерины. Пять штук. Мелкие, как крупинки соли. В каждом — отблеск.

Она зажгла свечу. Не газовую лампу — живую, восковую, купленную у старухи на Сенной. Такие свечи горели ровнее и, по словам Марфы Тимофеевны, «не мешали духам говорить». Анфиса сняла перчатки. Её пальцы коснулись осколков — осторожно, как касаются век спящего.

Сначала — ничего. Пустота. Холод. Она уже знала этот холод. Он был везде, где побывала графиня. Но она не отступала. Она дышала. Медленно, глубоко, как учила Марфа. Вдох — на четыре счёта. Задержка — на четыре. Выдох — на восемь. И с каждым выдохом она погружалась глубже. В хрусталь. В память.

И память открылась.

Она увидела зал. Огромный, с зеркалами в золочёных рамах, с люстрой из хрусталя, которая казалась живой — она дышала, переливалась, двигалась, хотя в зале не было ветра. Играл оркестр. Что-то медленное, вальсовое. И в центре зала танцевала Варвара.

Она не танцевала — она говорила. Телом. Руками. Взглядом. Каждое движение было словом, каждая поза — фразой. Она рассказывала историю. О чём-то, что было давно. О чём-то, что болело. Анфиса чувствовала это — как чувствовала всё, что касалось живых существ. В танце Варвары была тоска. И надежда. И страх. И любовь.

А потом появилась графиня. Она вышла из-за колонны, одетая в чёрное, с веером из страусиных перьев. Она смотрела на Варвару, и её лицо — в этом воспоминании — было не благодушным, а жадным. Голодным. Так смотрит коллекционер на редкую бабочку, которую хочет наколоть на булавку.

Она что-то сказала Варваре. Анфиса не слышала слов — только движение губ. Но она почувствовала, как Варвара вздрогнула. Как её танец сбилсся. Как на лице появилось выражение — не восторга, а ужаса. Она сделала шаг назад. Потом ещё один. И тогда графиня подняла руку.

В её ладони был хрусталь. Маленький, с ноготь. Он засветился — холодным, белым светом. И Варвара закричала. Анфиса не слышала крика — но видела его. В том, как раскрылся рот. В том, как напряглись мышцы шеи. В том, как пальцы вцепились в воздух, пытаясь ухватиться за что-то, чего уже не было.

А потом свет поглотил всё.

Анфиса вынырнула из видения, тяжело дыша. Свеча догорела наполовину, воск стекал по подсвечнику, образуя причудливые натёки. Осколки на столе потускнели — память, которую они хранили, была отдана. Отдана ей.

Она сидела, глядя на свои руки. Они дрожали. В памяти Варвары не было добровольного согласия. Не было покоя. Был страх. Был крик. Был обман.

Графиня лгала. И лгала красиво — так, как умеют лгать только те, кто верит в свою ложь.

Анфиса встала. Ей нужно было найти Орлова. Немедленно.

Она нашла его в кабинете. Он сидел в кресле, спиной к двери, и смотрел в окно. За стеклом кружился снег. На столе лежал скомканный листок.

— Глеб Сергеевич, — начала она. — Я видела. Варвара не соглашалась. Графиня...

— Я знаю, — перебил он, не оборачиваясь. — Она убила её.

Анфиса остановилась. Что-то в его голосе было не так. Слишком ровный. Слишком спокойный.

— Ты... как ты узнал?

Он обернулся. И она увидела его лицо. Усталое. Пустое. И — что было хуже всего — виноватое.

— Она прислала письмо, — сказал он. — Графиня. Приглашает на встречу. Сегодня в полночь. У оранжереи. Говорит, у неё есть то, что я потерял.

Анфиса похолодела.

— И ты собираешься пойти?

— Да.

— Это ловушка!

— Разумеется, — он пожал плечами. — Но она не станет меня убивать. Она хочет сохранить меня. А для этого нужно, чтобы я был жив. Некоторое время.

— Глеб Сергеевич, — Анфиса подошла к нему, села на корточки, заглянула в глаза. — Ты не можешь идти один. Это безумие.

— Я должен, — сказал он, и в его голосе впервые за долгое время появилась та самая сталь, которая когда-то вела его против Ярославского. — Я не помню, что она взяла. Но я чувствую, что там была... важная часть. Что-то, без чего я — не я. И если есть шанс вернуть это... — он замолчал. — Я должен попробовать.

Анфиса смотрела на него. Она видела, как он изменился за эти годы. Как из жёсткого, циничного следователя превратился в человека, способного на веру. И на отчаяние. И это отчаяние пугало её больше, чем любая магия.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Но я пойду с тобой.

— Нет.

— Я не буду мешать. Я буду ждать. Рядом. Если что-то пойдёт не так...

— Анфиса...

— Не спорь со мной, Глеб Сергеевич, — отрезала она. — Я твой партнёр. А партнёры не бросают друг друга. Даже когда один из них ведёт себя как идиот.

Он посмотрел на неё. Долго. Потом — усмехнулся. Уголком губ. Едва заметно.

— Хорошо, — сказал он. — Но если начнётся...

— Я знаю, что делать, — она встала. — Я всегда знаю, что делать. Это моя работа.

Полночь. Оранжерея особняка Воронцовых была пристроена к задней части дома — стеклянный купол, под которым даже зимой цвели розы. Не живые — хрустальные. Десятки, сотни роз, всех оттенков от прозрачного до кроваво-красного. Они не пахли. Они светились. Каждая — своим светом, слабым, пульсирующим, как сердцебиение.

Орлов стоял у входа. Один. Анфиса осталась за оградой, в тени старого дуба, готовая в любой момент вмешаться. Он чувствовал её присутствие — тёплое, живое, — и это придавало сил.

Двери оранжереи открылись. Вышла графиня. Она была в белом — длинном, струящемся, почти прозрачном. В свете хрустальных роз она казалась призраком. Или статуей. Или чем-то средним.

— Капитан, — сказала она. — Вы пришли.

— Вы обещали вернуть то, что я потерял.

— Обещала, — она кивнула. — Но сначала — один вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему вы потеряли память? Не как — я знаю, как. Колокол. А почему именно вы? Почему не мадемуазель Ветрова? Почему не кто-то другой?

Орлов молчал.

— Потому что вы сами этого хотели, — сказала графиня. — Вы хотели забыть. Что-то, что было слишком больно. Что-то, что вы не могли вынести. Колокол — он не стирает всё подряд. Он стирает то, от чего вы хотите избавиться. То, что вы сами прячете от себя.

Она подошла ближе. В её руке что-то блеснуло. Маленький хрустальный флакон.

— Я нашла это у вас, — сказала она. — Когда вы были у меня в первый раз. Это — ваша память. Ваша боль. Ваша... — она улыбнулась, — ...ваша слабость. Я могу вернуть её. Или могу оставить себе. Выбор за вами.

Орлов смотрел на флакон. Внутри клубилось что-то тёмное, живое. Оно двигалось, переливалось, тянулось к нему — как растение тянется к свету. Он чувствовал его. Чувствовал, как оно зовёт. И в то же время — как оно пугает.

— Что там? — спросил он хрипло.

— Вы, — ответила графиня. — Настоящий. Без каркаса. Без брони. Без железной воли. Человек, который умел чувствовать. Который умел любить. Который умел бояться. — Она покачала флакон. — Тот, кем вы были до того, как сломали себя. И я предлагаю вам выбор, капитан. Вернуть это — и снова стать уязвимым. Или оставить мне — и остаться тем, кто вы есть. Сильным. Холодным. Непобедимым.

Она протянула флакон.

— Что выберете?

Орлов стоял, глядя на маленький хрустальный сосуд. Внутри него билось что-то живое. Что-то, что он когда-то потерял. Или — отдал. Он не помнил.

Он протянул руку.

И в этот момент за его спиной раздался голос.

— Не смей.

Он обернулся. Анфиса стояла в дверях оранжереи. Её лицо было бледным, но глаза горели.

— Не смей, Глеб Сергеевич. Она лжёт. Она всегда лжёт. То, что в этом флаконе — это не твоя память. Это твоя боль. Только боль. Она вырезала всё остальное. Всё хорошее. Всё, что делало тебя тобой.

Графиня усмехнулась.

— А вы уверены, мадемуазель?

— Я чувствую, — отрезала Анфиса. — Это мой дар. Помните? И я чувствую, что в этом флаконе нет ничего, кроме страха. И боли. И отчаяния. Если он вернёт это — он не станет прежним. Он просто... сломается.

Орлов замер. Рука его застыла в воздухе, в нескольких дюймах от флакона.

— Она права? — спросил он графиню.

Графиня молчала. Её улыбка поблекла. Впервые за всё время в её глазах мелькнуло что-то похожее на раздражение.

— Правда — это вопрос перспективы, — сказала она наконец.

— Нет, — Орлов опустил руку. — Правда — это когда не надо выбирать слова.

Он отступил на шаг.

— Я не возьму это. Ни сегодня. Никогда.

Графиня смотрела на него. Долго. Потом — вздохнула.

— Жаль, — сказала она. — Вы были бы прекрасным экспонатом.

Она подняла руку с флаконом. И разжала пальцы.

Хрусталь упал на каменный пол оранжереи. И разбился.

Тёмное содержимое брызнуло в стороны — и растворилось в воздухе, как дым. Орлов почувствовал, как что-то острое, холодное, резануло по сознанию — и исчезло. Навсегда.

Он смотрел на осколки. На то, что было его памятью. Его болью. Его прошлым. И чувствовал... ничего.

Пустоту. Но не ту, что была раньше. Не дыру. А просто — тишину. Как в комнате, где наконец-то выключили надоевший патефон.

— Идём, — сказал он Анфисе. — Нам здесь больше нечего делать.

Они вышли из оранжереи. Снег всё падал. Графиня осталась стоять среди своих хрустальных роз. Она смотрела им вслед, и на её лице было выражение, которое Орлов не смог бы описать. Что-то среднее между разочарованием и... надеждой?

— Капитан! — крикнула она вдруг. — Вы всё ещё не спросили о мальчике!

Орлов остановился.

— О каком мальчике?

Графиня улыбнулась. И в этой улыбке было столько холода, что даже снег, казалось, стал теплее.

— О том, который живёт в моём подвале. Которого вы ищете. Который всё ещё... — она сделала паузу, — ...двигается.

Она повернулась и ушла в оранжерею. Двери закрылись.

Орлов стоял, глядя на стеклянный купол. Внутри, среди хрустальных роз, двигались тени. Много теней. И одна из них — маленькая, детская — подошла к стеклу. Прижалась ладонями. И застыла.

— Мы вернёмся, — сказала Анфиса. — Завтра. С подкреплением.

— Завтра, — повторил Орлов.

Но он знал, что не сможет ждать. Потому что в этой маленькой тени, за стеклом, было что-то, что отзывалось в нём сильнее, чем любая память. Что-то, что не давало ему покоя.

Что-то, что он не мог забыть.

Даже если хотел.

Глава 4: Подвал графини

Они вернулись в Бюро на рассвете. Город ещё спал, укрытый снегом, и только редкие фонари горели на улицах, отбрасывая жёлтые пятна на белые сугробы. Орлов шёл молча, глядя себе под ноги. Анфиса — рядом, не пытаясь заговорить. Она чувствовала, что слова сейчас были бы лишними. Как соль на открытую рану.

В кабинете было холодно. Тимофей Семенович, дежуривший ночью, спал прямо за столом, уронив голову на раскрытую папку. Рядом с ним, на краю стола, сидел маленький домовой — тот самый, что когда-то был «консультантом» при КЧР, а теперь жил в Бюро на правах вольного жильца. Он посмотрел на вошедших, покачал головой — мохнатой, похожей на кошку, — и, не издав ни звука, спрыгнул на пол и скрылся в щели за шкафом.

— Он чувствует, — тихо сказала Анфиса. — Они все чувствуют. Что-то не так.

Орлов снял плащ. Повесил на гвоздь. Прошёл к столу. Сел. Взял перо. Повертел в пальцах. Отложил.

— Я ничего не чувствую, — сказал он. — И это... — он замолчал, подбирая слово. Не нашёл. — Это странно.

Анфиса села напротив. Она смотрела на него, и в её взгляде была та особая, тихая тревога, которую она научилась скрывать от посторонних, но не от него. Или — от себя.

— Ты отказался от своей памяти, — сказала она. — Не от боли. От всего. Ты сам это сделал. Своей волей. И теперь... — она запнулась.

— Теперь я — чистый лист, — закончил он. — Да?

— Нет, — она покачала головой. — Не чистый. Просто... другой. Как дерево, с которого срезали все ветки. Ствол остался. Корни остались. Но кроны больше нет. И неизвестно, что вырастет.

Орлов усмехнулся. Криво. Без тепла.

— Ты говоришь, как Марфа Тимофеевна.

— Марфа Тимофеевна — мудрая женщина.

— Мудрая, — согласился он. — И, как все мудрые люди, говорит загадками. — Он помолчал. — Что нам известно о мальчике?

Анфиса поняла, что разговор о памяти закончен. Отложен. До лучших времён. Или до худших. Она выпрямилась и перешла на деловой тон — тот самый, который они выработали за два года совместной работы.

— Я проверила архивы. В Петербурге за последние десять лет пропало без вести семеро детей в возрасте от семи до двенадцати лет. Мальчики и девочки. Все — из разных сословий. Все — с магическими способностями. Слабыми, но настоящими. Одного из них, мальчика по имени Михаил, сына прачки с Литейного, искали особенно долго. Мать приходила в полицию каждую неделю. Потом перестала. Умерла.

Она достала из папки пожелтевшую фотографию. На ней был изображён мальчик лет девяти, с серьёзным, не по-детски взрослым лицом и тёмными, внимательными глазами.

— Это он? — спросил Орлов.

— Не знаю. Но он был в списке. И его мать... — Анфиса помолчала. — Его мать перед смертью написала письмо. В Синод. Она утверждала, что её сын «не умер, а застыл». Что она слышит его голос. По ночам. Зовущий.

Орлов взял фотографию. Долго смотрел на детское лицо. Что-то шевельнулось в нём — глубоко, на самом дне. Не память. Что-то другое. Что-то, что было старше памяти.

— Сегодня ночью, — сказал он наконец. — Мы идём в особняк.

— Глеб Сергеевич...

— Я знаю, что ты скажешь. Что это опасно. Что нужно подготовиться. Что нужно задействовать людей. — Он поднял на неё глаза. — Но у нас нет времени. Графиня знает, что мы знаем. Она будет ждать. И она будет готова. Если мы придём через неделю — она подготовится. Если придём сегодня — у неё будет меньше времени.

— Или больше, — возразила Анфиса. — Она могла ждать нас прошлой ночью. Могла устроить засаду. Но не устроила. Почему?

Орлов не ответил. Он думал о том же. Графиня играла в свою игру. И в этой игре они были не просто фигурами. Они были... частью коллекции. Потенциальной. Она хотела, чтобы они пришли. Чтобы увидели. Чтобы поняли.

— Тогда тем более, — сказал он. — Если она хочет, чтобы мы пришли, — мы придём. Но не так, как она ожидает.

Подготовка заняла весь день. К вечеру в Бюро собрались все, кто был — шесть агентов, Тимофей Семенович, двое домовых, и даже старый знакомый — призрак девочки в старинном платье, который жил в подвале с незапамятных времён и иногда помогал, когда дело касалось чего-то совсем древнего.

План был прост. Орлов и Анфиса входят через главные ворота. Отвлекают графиню. В это время два агента — самые незаметные, из бывших воров, — проникают через оранжерею. Их задача — найти подвал и вывести мальчика. Если это возможно. Если он ещё жив.

— Это не сработает, — сказал Тимофей Семенович, когда план был изложен. — Слишком просто. Она ждёт именно этого.

— Знаю, — ответил Орлов. — Поэтому у нас есть второй план.

Он достал из сейфа свинцовый ларец. Тот самый, в котором когда-то хранился осколок обсидиана. Теперь ларец был пуст. Но не совсем.

— Что это? — спросила Анфиса.

— Осколок хрусталя, — сказал Орлов. — Тот, что я подобрал в оранжерее. Когда флакон разбился. Одна из капель попала на плащ. Я сохранил.

Он открыл ларец. На дне, на бархатной подкладке, лежала крошечная, почти невидимая крупинка. Она слабо светилась — холодным, белым светом.

— Это часть того, что было во флаконе, — сказал Орлов. — Моя память. Или её эхо. Я не знаю. Но если я прав, — она связана с графиней. Через неё я смогу её найти. Внутри. В её собственном пространстве.

— Ты хочешь использовать это как маяк, — поняла Анфиса.

— Да. Ты пойдёшь со мной. Будешь держать связь. Если я уйду слишком далеко — вытащишь.

Анфиса смотрела на него. В её глазах было что-то, чего он не видел раньше. Страх. И гордость. И — что-то ещё. Что-то, что она не решалась назвать.

— Хорошо, — сказала она. — Но если ты не вернёшься...

— Вернусь, — сказал он. — Я всегда возвращаюсь.

— Не всегда, — тихо ответила она. — Иногда ты оставляешь части себя. И не замечаешь этого.

Он посмотрел на неё. Долго. Потом — кивнул.

— Знаю, — сказал он. — Поэтому ты и нужна мне. Чтобы замечать.

Особняк Воронцовых ночью был ещё красивее, чем днём. Окна светились мягким, тёплым светом. Из оранжереи доносился слабый, мелодичный звон — хрустальные розы покачивались на невидимом ветру, и их лепестки касались друг друга, издавая тонкие, чистые звуки. Как будто дом дышал. Как будто он жил.

Орлов и Анфиса подошли к воротам. Лакей — тот же старик с лицом из выдубленной кожи — уже ждал. Он открыл калитку и поклонился.

— Её сиятельство просила проводить вас в подвал, — сказал он. — Она сказала, вы захотите увидеть мальчика.

Орлов переглянулся с Анфисой. Слишком просто. Слишком гладко. Но выбора не было.

Они вошли. Двор был пуст. Снег лежал нетронутым, и только их следы — две цепочки — тянулись от ворот к дому. Лакей вёл их через тёмные коридоры, мимо закрытых дверей, вниз по узкой каменной лестнице. Чем глубже они спускались, тем холоднее становился воздух. Но это был не зимний холод. Это был тот самый холод. Хрустальный.

В подвале было темно. Только слабый свет — тот же, что от роз, — просачивался сквозь щели в стенах. Лакей остановился перед массивной дубовой дверью, окованной железом.

— Здесь, — сказал он. — Её сиятельство просила передать, что вы можете оставаться сколько угодно. Она не будет мешать.

Он повернулся и ушёл. Его шаги стихли в темноте. Орлов и Анфиса остались одни.

Орлов толкнул дверь. Она открылась без скрипа.

Комната была небольшой. Сводчатый потолок, голые стены. В центре — постамент из чёрного мрамора. На постаменте — хрустальный саркофаг. А внутри — мальчик.

Он был не просто застывшим. Он был живым. Его глаза двигались. Губы шевелились. Пальцы — едва заметно — сжимались и разжимались. Он был заперт в хрустале, как муха в янтаре, но не потерял себя. Не заснул. Не умер. Он боролся.

Анфиса подошла первой. Она опустилась на колени перед саркофагом и прижала ладони к холодной поверхности. Мальчик посмотрел на неё. Его глаза — тёмные, внимательные, как на фотографии, — расширились. Он узнал. Не её — но то, что она несла в себе. Жизнь. Тепло.

— Миша, — прошептала Анфиса. — Михаил. Сын Прасковьи. С Литейного.

Мальчик замер. Потом — медленно, с усилием — кивнул. Одно движение. Крошечное. Но оно стоило ему, казалось, невероятных усилий.

— Он слышит, — сказала Анфиса, не оборачиваясь. — Он всё слышит. И он... — она замолчала. Потом добавила, едва слышно: — Он хочет говорить.

Орлов подошёл. Встал рядом. Посмотрел на мальчика. Тот перевёл взгляд на него. И в этих глазах — тёмных, как вода в глубоком колодце, — Орлов увидел что-то, от чего у него перехватило дыхание.

Понимание.

Мальчик смотрел на него так, как смотрят на старого знакомого. Как на того, кого ждали. Как на того, кто наконец пришёл.

— Ты меня знаешь? — спросил Орлов.

Мальчик кивнул. Медленно. С трудом. Потом поднял руку — едва-едва, на дюйм. И указал на грудь Орлова. Туда, где когда-то было сердце. Туда, где теперь была пустота.

— Он говорит... — Анфиса нахмурилась, вслушиваясь. — Он говорит, что ты уже был здесь. Раньше. До того, как... — она замолчала. — Глеб Сергеевич. Он говорит, что ты приходил сюда. С графиней. Добровольно.

Орлов застыл.

— Когда?

Мальчик снова поднял руку. На этот раз — выше. Он показал два пальца. Потом — три. Потом сжал их в кулак.

— Два года назад? — предположила Анфиса. — Или...

Мальчик покачал головой — едва-едва. Потом его губы зашевелились, беззвучно. Анфиса наклонилась ближе. Прижалась ухом к хрусталу. И — вздрогнула.

— Он говорит... «Шторм». — Она подняла глаза на Орлова. — Он говорит, что ты пришёл сюда после Шторма. Когда город был... другим. И графиня... — Анфиса замолчала. Её лицо побелело. — Она взяла что-то у тебя. Не память. Что-то другое. Что-то, что ты нёс в себе. И ты... согласился.

Орлов смотрел на мальчика. Тот смотрел на него. И в этих тёмных глазах было столько всего — страх, надежда, мольба, — что Орлов почувствовал, как что-то в его груди — там, где было пусто, — шевельнулось. Больно. Остро. Как будто заноза, которую он считал зажившей, вдруг снова дала о себе знать.

— Что она взяла? — спросил он. — Что я ей отдал?

Мальчик снова зашевелил губами. Анфиса слушала. Потом — медленно, слово за словом, — перевела:

— «Ты отдал ей свою... невесту. Свою любовь. Она стала... хрусталем. И ты... забыл. Потому что не мог вынести».

Орлов стоял, не двигаясь. Слова падали в него, как камни в глубокую воду. Один. Другой. Третий.

Невеста. Любовь. Хрусталь.

Он не помнил. Ничего. Только пустота. Только холод. Только ровный стук в груди, который когда-то был сердцебиением, а теперь стал просто ритмом.

— Глеб Сергеевич, — тихо позвала Анфиса. — Ты слышал?

— Слышал, — ответил он. Голос был чужим. Ровным. Спокойным. — Это ничего не меняет. Мы пришли за мальчиком.

Он подошёл к саркофагу. Положил руки на хрусталь. Холод пронзил ладони — до костей. Но он не отступил.

— Как его освободить?

Анфиса встала. Вытерла глаза — она плакала, сама того не замечая. Посмотрела на саркофаг.

— Нужно найти якорь. То, что связывает его с хрусталём. Что-то личное. Что-то, что принадлежало ему до того, как он попал сюда. Если мы это найдём — сможем разорвать связь.

Орлов оглядел комнату. Голые стены. Постамент. Саркофаг. И — ничего. Никаких вещей. Никаких следов.

— Здесь ничего нет, — сказал он.

— Есть, — Анфиса опустилась на колени. Провела рукой по полу. — Под постаментом. Я чувствую. Там что-то есть.

Орлов надавил на мраморную плиту. Она поддалась — тяжело, со скрежетом, — и сдвинулась в сторону. Под ней, в углублении, лежала маленькая деревянная лошадка. Простая, грубо вырезанная. Такие делают для детей в деревнях. Одной ноги у неё не было — обломалась.

— Её, — прошептала Анфиса. — Он держал её в руках, когда графиня... когда она пришла.

Она взяла лошадку. Прижала к груди. Потом подошла к саркофагу и приложила её к хрусталю.

Сначала — ничего. Потом хрусталь начал светиться. Слабо. Изнутри. Мальчик закрыл глаза. Его тело — тонкое, детское — начало двигаться. Медленно. Судорожно. Как будто он пытался вырваться из льда.

Анфиса держала лошадку. Говорила что-то — тихо, нараспев. Слова были незнакомые, древние. Орлов не понимал их. Но чувствовал — как чувствуют тепло от огня, не видя его.

Хрусталь пошёл трещинами. Мелкими, паутинообразными. Свет стал ярче. Мальчик открыл глаза. И — сделал вдох.

Первый вдох за годы.

Хрусталь рассыпался. Не взорвался — просто осыпался, как песок. Мальчик упал на колени Анфисы. Худой, бледный, дрожащий. Но живой. Настоящий.

Он посмотрел на Орлова. И улыбнулся. Слабо. Едва-едва. Но — улыбнулся.

— Спасибо, — прошептал он. Голос был хриплым, сорванным. Но это был голос.

Орлов опустился перед ним на корточки. Посмотрел в глаза. Тёмные. Глубокие. Как колодец.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он.

Мальчик кивнул.

— Ты приходил, — сказал он. — Давно. С женщиной. Она была... красивая. Как кукла. А ты... — он нахмурился, вспоминая. — Ты плакал.

Орлов молчал.

— Она стала стеклянной, — продолжил мальчик. — Женщина. Твоя. Графиня сделала её стеклянной. И ты... — он поднял руку, коснулся груди Орлова. — Ты оставил здесь своё сердце. Чтобы не чувствовать.

Он убрал руку.

— Но оно ещё там. Я видел. Оно... светится.

Орлов медленно выпрямился. Посмотрел на Анфису. Она смотрела на него. В её глазах были слёзы.

— Нам нужно уходить, — сказал он. — Сейчас.

Они вышли из подвала. Мальчик — на руках Орлова, закутанный в его плащ. Анфиса — рядом, с лошадкой в кармане. Лестница была тёмной. Коридоры — пустыми. Никто их не остановил. Никто не окликнул.

У самых ворот их ждала графиня. Она стояла в дверях оранжереи, в белом, с хрустальной розой в руках. Смотрела на них. Молча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.